

Александр Радашкевич – поэт, который обладает своей особой интонацией, своим особым поэтическим жестом. Поймать эту интонацию удаётся не сразу: ритмический рисунок стихотворения сбивает неподготовленного читателя, не обнаруживающего привычных размеров и рифмы. Надо вчитаться в слова и строфы, чтобы естественное движение стиха себя проявило. Поэт ведёт свою речь, независимо от канонов, не подчиняя слово никакому привычному стандарту – ему важно довести до читателя свою мысль, свою метафору, своё мировидение. Он избегает инерции восприятия текста, организованного по этой самой инерции. Только нацупаешь размер, не обозначенный на бумаге отдельными строчками, как этот размер исчезает: возникает ощущение, что автор обратился к верлибру, да так оно и есть, только этот верлибр тут же преобразуется в богато аллитерированный рифмованный текст. На этих «сбоях» задерживается наше внимание и остро воспринимается поэтическое содержание авторской речи. Поначалу такое чтение кажется затруднённым, но, преодолев эти затруднения, читатель попадает в поле настоящей поэзии.

Д. Ч.

БЕЛОРУССКОЕ ФОТО

ОСЕННИЕ ШТРИХИ

I

На стёртых набережных Сены
туристы пьют напрасное вино

и веруют, что счастливы в Париже,
а мальчик белобрысый между барж
всё ловит рыбку золотую, но подцепляет
презерватив. Согласные меж гласными –
во что ещё играть? Сарацинская
Франция зубоскалит в лицо.
А на душе – пустее не бывает и
слякотней, но всё равно, как хорошо,
что вкривь дороги, что запинается
судьба на ровном месте, как и
прежде, что наши тени однобокие,
у края расплескав подрезанные крылья,
сотрутся с корочки земли.

II

А на седьмые небеса несёт избитая дорога,
ведут обратные пути, минуя паперти порогов,
перронов сальные изгибы, где чей-то взгляд
посюсторонний нас поселяет в непреложном, не
обещаая даже крошки от ненадломленных хлебов.
Осталось в общем-то немного – след млечности
на блюде голубом, охапки снов почти астральных,
три точки из сожжённых писем да блики непечатых
уст. Недораспятые надежды теснятся вдоль
нечаемой реки, исчислен век, янтарно плачут
свечи, и ключ заведомых падений зажат в немеющей
руке, а на седьмые небеса, минуя слипшиеся будни
и запинаясь у порога, несёт неторная
дорога, ведут возвратные пути.

ТРЕТЬЯ ВЕНЕЦИЯ

Тебя не замарают авангадость и не изранят
праздные шаги – зелёная вода стирает явь
брезгливо и бесстрастно, и мраморные львята
на мраморных балконах незряче плятятся,
как древле, в опалово-подлунную лагуну, где
проплывают мимо снов гравюрные палаццо
в вивальдиевых ларго, недвижимо, где суетно
снуют гробы повапленных гондол, поплёскивая

сумеречным лаком, где на бронзовой шляпе
Гольдони восседает пугливая чайка. Ты
в съеденных веками зеркалах и в колоннах,
одетых в бархат, в драгоценных надгробьях
незнаемых дождей и смарагдовой ртути каналов
ждёшь каждого, как никого, кто пропадает
тут навеки в забитом стрельчатом окне,
ёжась в сотлевшем парчовом халате.

ЭЛЕГИЯ МОРЯ

Михаэлю Шербу

А где-то,
где-то, где всегда
ждёт праведное море, безбрежный
взгляд необратимый и небо юной синевы,
где ту забвенную записку, что запечатали мы
лунным поцелуем, читает ветерок беспутный,
блаженно нас перезабыв, за небом скомканным
низины и плечом нечаянным твоим, за волоком
мокродных ноябрей и прорвой дней повинных, где
абы как и впопыхах мы отбываем беглый срок,
чтоб лечь прилежно спать и проснуться под утро
мёртвым, дышит в окно непреложное море, где
осыпаются зимние книги и отпадает в пустое
душа – из слякотного нежеланья желаний,
брешущих втрое, постичь, что где-то,
где-то, где-то, где присно,
ныне и всегда.

НОЧЬ АНТИМУЗЫКИ

Лужи мочи обоего пола,
бутылки со шприцами за углом,
окна, дрожавшие восемь часов
от электронной афро-долбёжки,
дряхлаые лица попусту юных,
орды дебилов, трясущихся хором
по улочкам изгаженным Парижа,
тени отбывших в блаженство поэтов,
томно заткнувших астральные уши,

и перлы голосов на ретро-свалке,
и Бах, и Бог в чернеющих церквях,
и ты по заветам иного, и я
не от века сего.

ОБИХОДНОЕ

Делать из тоски надежду, как
конфетку из дерьма, из отчаяний –
смиренье, из хотения – любовь,
как триумф из отрешенья над
воронками дорог, и лепить себя из
праха меж надгробьями небес,
узнавать себя всё реже в зеркалах
небытия, что следят из подворотен, и
страшиться страха лишь, унимая
птичье сердце в живодёрне бытия,
и, пока нас терпит тело, верить в то,
что надо верить, и молиться ни о чём,
наблюдать, как человеки, столь
довольные собой, из наследственной
конфетки ловко делают дерьмо,
во дворце суровом Питти быть
потресканным портретом, что
рассматривает вас из распахнутого
неба, из чертогов кватроченто
и земли, что дальше слёз.

ПАМЯТИ ГОТТА

А он уж там, там, куда ветер
ходит спать, где замечталась
небыль-юность у негасимого
костра, где ждут в обнимку
наши песни у предрассветного
подъезда, не собираясь больше
никуда из музыки нечаянного
века, и голубеют пастушьи глаза
над почерневшей книгой жизни,
где ни дождя, ни снега, ни жары
и где ни ветра, боже мой, в обвале

обнажающего света, где наших
душ обратное кино мелькает на
погашенном экране. А он уж там,
откуда никуда, где никому из-за
неба разлук себя недоставало, и
розов лик богемских херувимов
на шестикрыльях золотых там,
там, куда ветер ходит спать, ну
а тут государственный траур.

БЕЛОРУССКОЕ ФОТО

В садах отчалившего лета, куда летит
пыхтящий паровоз над Белой, Волгой,
надо мной, есть млечный остров белорусский,
где ждут благие голоса, ядро невызревших орехов
над озером в серебряных лесах, усатый дедушка
Ефим с крестьянскими ногтями и в допотопном
пиджачке, мне отрезавший тугую корочку от
розового сала, и бабушка Ульяна, прямая, как
венчальная свеча, с ухватом у печи, откуда
возникали чугунки и печёная бульба, да тётя
Аня с яблочным румянцем и целой кружкой
парного молока на том дозвёздном сеновале,
где спали сладко с кузеном Колей, москвичом
(что повесится после тюрьмы), как ангелы
шальные на задворках напрасного рая, руины
церкви над озёрной сталью и волны добрые
полей под нивою распаханного неба, где я бегу
с июльского холма, расплёскивая душу,
за тем собой, кого ветра курчавые любили, а вы
стоите смирно, на века, Савелий, Саша, Василёк,
две Анны и Матвей, и бабушка Ульяна, и
дедушка Ефим, как на нечаянной иконе
садов отчалившего лета.